



Г. П. ФЕДОТОВ

Певец Империи и Свободы

Как не выкинешь слова из песни, так не выкинешь политики из жизни и песен Пушкина. Хотим мы этого или не хотим, но имя Пушкина остается связанным с историей русского политического сознания. В 20-е годы вся либеральная Россия декламировала его революционные стихи. До самой смерти поэт несет последствия юношеских увлечений. Дважды изгнанник, вечный поднадзорный, он оставался, в глазах правительства, всегда опасным, всегда духовно связанным с ненавистным декабризмом. И, как бы ни изменились его взгляды в 30-е годы, на предсмертном своем памятнике он все же высек слова о свободе, им восславленной¹.

Пушкин-консерватор не менее Пушкина-революционера живет в кругу политических интересов. Его письма, его заметки, исторические темы его произведений об этом свидетельствуют. Конечно, поэт никогда не был политиком (как не был ученым-историком). Но у него был орган политического восприятия, в благороднейшем смысле слова (как и восприятия исторического). Утверждая идеал жреческого, аполитического служения поэта, он наполовину обманывал себя. Он никогда не был тем отрешенным жрецом красоты, каким порой хотел казаться. Он с удовольствием брался за метлу и политической эпиграммы, и журнальной критики. А главное, в нем всегда были живы нравственные основы, из которых вырастают политическая совесть и политическое волнение. Во всяком случае, в его храме Аполлона было два алтаря: России и свободы.

Могло ли быть иначе при его цельности, при его укорененности во всеединстве, выражаясь языком ненавистной ему философии? Пушкин никогда не отъединял своей личности от мира, от России, от народа и государства русского. В то же время его живое нравственное сознание, хотя и подчиненное эстетическо-

му, не позволяло принять все действительное как разумное. Отсюда революционность его юных лет и умеренная оппозиция режиму Николая I. Но главное, поэт не мог никогда и ни при каких обстоятельствах отречься от того, что составляло основу его духа, от свободы. Свобода и Россия — это два метафизических корня, из которых вырастает его личность.

Но Россия была дана Пушкину не только в аспекте женственности — природы, народности, как для Некрасова или Блока, но и в мужеском — государства, Империи. С другой стороны, свобода, личная, творческая, стремилась к своему политическому выражению. Так само собой дается одно из главных силовых напряжений пушкинского творчества: Империя и Свобода.

Замечательно: как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада — духа и силы — не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего. Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задышался. Свободолюбивая, но безгосударственная Россия рождается в те же тридцатые годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист — Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией — русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается. К нему самому можно приложить его любимое имя:

Сей остальной из стаи славных
Екатерининских орлов².

Изучая движение обеих политических тем Пушкина, мы видим, что одна из них не перестает изменяться, постоянно сдвигает свои грани, и в общем указывает на определенную эволюцию. Выражаясь очень грубо, Пушкин из революционера становится консерватором. 14 декабря 1825 года, столь же грубо, можно считать главной политической вехой на его пути. Мы постараемся лишь показать, что, как в декабрьские свои годы Пушкин не походил на классического революционного героя, так и в нико-

лаевское время, отрекшись от революции, он не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своем содержании. Зато другая тема, тема империи, остается неизменной. Это константа его творчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два «Воспоминания в Царском Селе». Одно лицейское 1814 года, то самое, которое он читал на экзамене перед Державиным, другое 1829 года, по возвращении, после долгих лет изгнания, в священное сердцу места. При всем огромном различии художественной формы тема не изменилась; остались те же сочетания образов: «великая жена», Кагульский памятник, столь дорогой ему по воспоминаниям отроческой любви.

Увы, промчались те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия, —

вздыхает отрок. И зрелый Пушкин отвечает:

Еще исполнены великою Женою
Ее любимые сады.
Стоят населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами богов,
И славой мраморной и медными хвалами
Екатерининских орлов.

Героические воспоминания минувшего века окружают детство Пушкина. Летопись побед России воплощается в незабываемых памятниках, рассеянных в чудесных садах Екатерины. Личная биография поэта на заре его жизни сливается с историей России: ее не вырвать из сердца, как первую любовь.

Гроза 12 года глубоко взволновала царскосельский лицей. Для Пушкина она навсегда осталась источником вдохновения. Но замечательно, что за ней он прозревал век еще более могучий, которого последними отпрысками были герои 12 года. Слагая оды Кутузову, Барклаю-де-Толли он их видит на фоне восемнадцатого века. Таков же для него и генерал Раевский — «свидетель екатерининского века» прежде всего, и уже потом «памятник 12 года»³. Пушкин никогда не терял случая собирать живые воспоминания прошлого века — века славы — из уст его последних представителей. Таковы для него старый Раевский, кн. Юсупов, Мордвинов, фрейлина Н. К. Загряжская, разговоры с которой он тщательно записывал⁴.

Нахлынувшие в молодости революционные настроения несколько не поколебали у Пушкина этого отношения к империи — не только в прошлом ее великолепии, но и в живой ее традиции, в настоящей борьбе за экспансию. Чрезвычайно интересно изу-

чать то, что можно назвать имперскими концовками в его ранних, так называемых байронических поэмах: в «Кавказском пленнике», в «Цыганах» — там, где мы их менее всего ожидаем. Казалось бы, на Кавказе сочувствие мятежного поэта должны были привлечь вольнолюбивые горцы, отстаивавшие свою свободу от наступающей России. Ведь для пленника в жизни нет ничего выше свободы:

Свобода, он одной тебя
Еще искал в подлунном свете...

Байрон — и Вальтер Скотт — конечно, встали бы на сторону горцев. Но Пушкин не мог изменить России. Его сочувствие раздваивается между черкесами и казаками. Чтобы примирить свое сердце с имперским сознанием — свободу со славой, — он делает русского пленником и подчеркивает жестокость диких сынов Кавказа. Тогда казачьи линии и русские штыки становятся сами символом свободы:

Тропой далекой,
Освобожденный пленник шел,
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Не довольствуясь этим завершающим аккордом, поэт слагает в Эпиллоге гимн завоевателям Кавказа — Цицианову, Котляревскому, Ермолову, не щадя жестоких красок, не смягчая исторической правды. Особенно ужасным встает Котляревский — «бич Кавказа». Стихи, ему посвященные:

Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена, —

вызвали в свое время гуманные и справедливые замечания кн. Вяземского: «Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести... Гимн поэта никогда не должен быть славословием резни»⁵.

Здесь, несомненно, налицо погрешность против нравственно-го, а следовательно, и художественного такта. Это юношеское увлечение насилием в гимне империи находит свою параллель в оде «Вольность» — гимне свободе.

Зато в зрелых, почти совершенных «Цыганах» «имперская концовка» дает настоящее разрешение пронесшейся буре губительных страстей. Над личной трагедией пронесится, как примирающее и возвышающее воспоминание:

В стране, где долго, долго брани
 Ужасный гул не умолкал...
 Где старый наш орел двуглавый
 Еще шумит минувшей славой...

В «Полтаве», в «Медном всаднике» тема Империи уже не концовка и не орнамент; она составляет самую душу поэм: заглавия об этом свидетельствуют. В «Полтаве» Петр, истинный ее герой, подавляет своим грозным величием трагических любовников:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
 Огромный памятник себе.

Этот памятник, с теми же аполлиническими и грозными чертами императора, оживает и в петербургской поэме. В «Медном всаднике» не два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Петр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встает образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изображение! Нева кажется почти живой, одушевленной, злой силой:

Осада, приступ! Злые волны,
 Как воры, лезут в окна...

Продолжая традиционную символику — законную, ибо Всадник, несомненно, символ Империи, как назвать эту третью силу — стихии? Ясно, что это тот самый змей, которого топчет под своими копытами всадник Фальконета. Но кто он, или что он? Теперь, в свете торжествующей революции, слишком соблазнительно увидеть в этой стихии революцию, обуздываемую царем. Но о какой стихийной революции мог думать Пушкин? Уж конечно не стихийным было 14 декабря. Пугачевщина скорее напоминает разлив волн. Но и это толкование было бы слишком узким. Для Фальконета, как для людей XVIII века, змей означал начало тьмы и косности, с которым борется Петр: скорее всего старую, московскую Русь. Мы можем расширить это понимание: змей или наводнение — это все иррациональное, слепое в русской жизни, что, обуздываемое Аполлоном, всегда готово прорваться: в сектантстве, в нигилизме, в черносотенстве, в бунте. Русская жизнь и русская государственность — непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, — это не лич-

ность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня империи или в волнах революции.

Конечно, и Всадник империи имеет в себе нечто демоническое, бесчеловечное:

Ужасен он в окрестной мгле.

Называя его «кумиром», поэт подчеркивает языческую природу государства. Пусть ужасный лик Петра в «Полтаве» боже-ствен:

Он весь как Божия гроза.

Но что это за божество? Кто этот «бог браней» со своей благодар-тью? Не Аполлон ли, раз навсегда смутивший воображение от-рока поэта? — «Дельфийский идол», «полон гордости ужасной» и дышащий «неземной силой».

Бесполезно было бы до конца этизировать аполлинический эрос империи, которым живет Пушкин. Мы уже видели срыв во-енных строк «Кавказского пленника». Этот срыв неизбежен в песнях войны. На бранном поле Аполлону трудно сохранить бла-городство своей бесстрастной красоты. Где кровь, там торжеству-ет стихия: «И смерть и ад со всех сторон».

Пушкин любил войну — всегда, от детских лет до смерти. В молодости мечтал о военной службе, в тридцать лет, в Эрзерум-ском походе, мчался — единственный раз в жизни — в казачь-ем строю против неприятеля. За отсутствием военных впечатле-ний, всю жизнь возился с оружием, искал в дуэлях волнующих ощущений. Даже Николай Павлович импонировал ему «войной, надеждами, трудами»⁶.

Бесполезно поэтому видеть в империи Пушкина чистое выра-жение нравственно-политической воли. Начало правды слишком часто в стихах поэта, как и в жизни государства, отступает перед обаянием торжествующей силы. Обе антипольских оды («Клевет-никам России» и «Бородинская годовщина») являются ярким воплощением политического аморализма:

Славянские ль ручьи сольются в Русском море,
Оно ль иссякнет?

Это чистый вопрос силы. Самая возможность примирения враждующих славянских народов, возможность их братского общения игнорируется поэтом. И здесь, как в гимне Котлярев-скому, Пушкин имеет против себя кн. Вяземского — и А. И. Тур-генева. Зато можно представить себе, что бывшие друзья его — декабристы — были бы с ним в этом отношении к польскому вос-станию 1830 года⁷. Имперский патриотизм был не менее сильной

страстью революционеров 20-х годов, чем самое чувство свободы. Великодушное отношение к Польше императора Александра глубоко их возмущало. В этом нечувствии к Польше, к ее национальной ране, Пушкин, как и декабристы, принадлежал всецело XVIII веку.

Но, если это так, если империю нельзя очистить до значения нравственной силы, не разрушает ли она свободы? Каким образом Пушкин мог совмещать служение этим двум божествам?

Вернемся к «Медному всаднику», который дает ключ к пушкинской империи. В этой поэме империя представлена не только Петром, воплощением ее титанической воли, но и Петербургом, его созданием. Незабываемые строфы о Петербурге лучше всего дают возможность понять, что любит Пушкин в «творении Петра». Совестно цитировать то, что мы все помним наизусть, что повторяем ежедневно, как благие чары против тоски и смуты нашей жизни. Но, не цитируя, стоит лишь напомнить, что все волшебство этой северной петербургской красоты заключается в примирении двух противоположных начал: тяжести и строя. Почти все эпитеты парны, взаимно уравновешивают друг друга: «громады стройные», «строгий, стройный вид», «узор чугунный». Чугун решеток прорезывается легким узором; громады пустынных улиц «ясны», как «светла» игла крепости. Недвижен воздух жестокой зимы, но легко зимой «бег санок» и «ярче роз — девичьи лица». Как торопится Пушкин набросить на гранитную тяжесть своего любимого города прозрачную ясность белых ночей, растворяющих все «громады» ее спящих масс в неземном и призрачном. И даже суровые военные потехи марсовых полей исполнены «стройно-зыблемой», живой «красивостью». Пушкин, как и Николай I, любил военные парады. Но, несомненно, они должны были по-разному воспринимать их красоту.

Империя, как и ее столица, для Пушкина, с эстетической точки зрения, это прежде всего лад и строй, окрыленная тяжесть, одухотворенная мощь. Она бесконечно далека от тяжести древних восточных империй, от ассирийского стиля, в котором, например, послебисмарковская и современная Германия ищет воплотить свой идеал мощи.

Но эта эстетическая стройность империи получает — по крайней мере, стремится получить — и свое нравственное выражение. Пушкин по-разному видит Петра. То для него он полубог, или демон, то человек, в котором Пушкин хочет выразить свой идеал светлой человечности. Таков он в «Арапе Петра Великого», таков в мелких пьесах. «Пир Петра Великого» — это апофеоз

прощения. В стансах 1826 г. он «незлобен памятью», «правдой привлек сердца». Но еще более, чем правда и милость, подвиг просвещения и культуры составляет для Пушкина, как для людей XVIII века, главный смысл империи: он «нравы укротил наукой», «он смело сеял просвещение». Преклонение Пушкина перед культурой, еще ничем не отравленное — ни славянофильскими, ни народническими, ни толстовскими сомнениями, — почти непонятное в наши сумеречные дни, — не менее военной славы приковывало его к XVIII веку. Он готов посвятить неосуществленной Истории Петра Великого свою жизнь. И, хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра: подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа «Великой Жены» в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии — включая и прозаическую поэзию — Пушкин чтит в венценосцах XVIII века — более в Петре, конечно, — творцов русской славы и русской культуры. Но тогда нет ничего несовместимого между империей и свободой. Мы понимаем, почему Пушкину так легко дался этот синтез, который был почти неосуществим после него. В исторических заметках 1822 г. Пушкин выразился о своем императоре: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения...»⁸ В другом месте назвал его «révolution incarnée»^{*9}, со всей двойственностью смысла, который Пушкин — и мы — вкладываем в это слово.

* * *

Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существа. Без свободы немислим Пушкин, и значение ее выходит далеко за пределы политических настроений поэта. В известном «Демоне» 1823 г. Пушкин дает такой инвентарь своих юношеских — а на самом деле, постоянных, всегдашних — святынь:

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

При видимой небрежности этого списка, он отличается исчерпывающей полнотой. Чем больше думаешь, тем больше убеж-

* «воплощенная революция» (фр.). — *Сост.*

даешься, что к этим четырем «чувствам» сводится все откровение пушкинского гуманизма. Свобода, слава, любовь и творчество — это его *virtutes cardinales* *, говоря по-католически. Правда, это еще не весь поэт. Пушкину не чужды и *virtutes theologales* **, на которые он бросает намек в «Памятнике»: «милость к падшим». Чем дольше Пушкин живет, тем глубже прорастают в нем христианские семена (последние песни «Онегина», «Капитанская дочка»). Но «природный» Пушкин — иначе говоря, Пушкин, созданный европейским гуманизмом, — живет этими четырьмя заветами: свободой, славой, любовью, вдохновением. Он никогда не изменяет ни одному из них, но, если можно говорить об известной иерархичности, то выше других для него свобода и творчество. Он может, во имя свободы, указать на две любви:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица...

и во имя ее же поставить славу рядом с рабством:

Рабства грозный гений
И Славы роковая страсть...

Но никогда, ни на одно мгновение своей жизни Пушкин не может отречься ни от свободы, ни от творчества.

Следя за темой империи у Пушкина, мы в сущности следим за политической проекцией его «славы». Приступая к свободе, не будем сразу ограничивать ее политическими рамками. Движение этой темы у Пушкина, во всей ее полноте, может многое уяснить и в изменчивой судьбе его политической свободы.

«Свобода, вольность, воля»... особенно «свободный, вольный»... нет слов, которые чаще бросались бы в глаза при чтении Пушкина. Пожалуй, они встречаются так часто, что мы к ним привыкаем, и они перестают звучать для нас (в этом омертвлении привычного совершенства главная причина нередкой у нас холодности к Пушкину). Осознаем ли мы вполне смысл таких строк:

Как вольность, весел их ночлег?..

Чувствуем ли мы всю странность этого образа:

...под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна, —

* основные добродетели (лат.). — *Сост.*

** богословские добродетели (лат.). — *Сост.*

издевающегося над всеми законами астрономии?

В невиннейшей «Птичке» способны ли мы, подобно умному цензору, разглядеть серьезность и почти религиозную силу пушкинского свободолюбия¹⁰:

За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?

В чем только, в каких образах Пушкин не искал воплощения своей свободы! В вине и пирах, в орле, «вскормленном на воле», и в беззаботной «птичке Божией», в волнуемом море (это один из главных ликов свободы) и в линии снеговых гор. Свободе посвящены всецело поэмы (помимо неудавшегося юношеского «Вадима»): «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Цыганы». Из поздних свобода, конечно, одушевляет «Анджело».

Но, в отличие от темы империи, тема свободы непрестанно движется. Пушкин не только находит все новые ее воплощения: от иных он отрекается, хотя у Пушкина отречение никогда не бесповоротно. За сменой форм ясно изменение в самой природе пушкинской свободы: не только в творчестве, но и в живой личности поэта.

В лицейские и ранние петербургские годы свобода впервые открылась Пушкину в своеволии разгула, за стаканом вина, в ветреном волокитстве, овеванном музой XVIII века. Парни и Богданович стоят, увы, восприемниками свободы Пушкина, как Державин — его империи. Но уже восходит звезда Шенье, и поэт Вакха и Киприды становится поэтом «Вольности». Юношеский протест против всякой тирании получает свою первую «сублимацию» в политической музе. В сознании юного Пушкина его политические стихи — серьезное служение. В них дышит подлинная страсть, и торжественные классические одежды столь же идут к ним, как и к революционным композициям Давида. Но у Шенье есть и другой соперник: Байрон. Политическая свобода в лире Пушкина, несомненно, созвучна той мятежной волне страстей, которая владеет им, хотя и не всецело, в начале 20-х годов: тот же взрыв поработенных чувств, та же суровая энергия, та же мрачность, заволакивающая на время лазурь. В эти годы, на юге, море («свободная стихия») становится символом этой страстной, стихийной свободы, сливаясь с образами Байрона и Наполеона. Но как близок катарсис, аполлиническое очищение от страстей! В «Цыганах» мы имеем замечательное осложнение темы свободы, в которой Пушкин совершает над собой творческий суд: свободу мятежную он судит во имя все той же, но высшей свободы.

Алеко порвал «оковы просвещения», «неволю душных городов», и это первое освобождение — байроническое — остается непрекаемым. Он прав в своем бунте против цепей условной цивилизации. Он ищет под степными шатрами свободы, и не находит. Почему? Пушкин верит, или хочет верить, что «бродячая бедность» цыган и есть желанная «воля»:

Здесь люди вольны, небо ясно...

Но этой ясности Алеко не дано. Он несет в себе свою собственную неволю. Он раб страстей:

Но, Боже, как играли страсти
Его *послушною* душой.

Грех Алеко в «Цыганах» не столько против милосердия, сколько против свободы:

Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли.

Порвавшему оковы закона необходимо второе освобождение — от страстей, на которое Алеко не способен. Способны ли на это сыны степей? Поэту кажется, что да. В цыганской вольности даются два ответа на роковой вопрос: легкость изменчивой Земфиры, этой пушкинской Кармен, и светлая мудрость старика, который из отречения своей жизни выносит то же благословение природной, изменчивой любви:

вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?

В оптимизме старика-цыгана слышатся отзвуки Руссо. Но отдавая дань и здесь XVIII веку, Пушкин все же сомневается в его правде. Один ли Алеко, чужак, угрожает счастью детей природы? Последние звуки полны безысходного, совершенно античного трагизма:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Очищение Пушкина от «роковых страстей» протекает параллельно с изживанием революционной страстности. Это первый серьезный кризис его «свободы», о котором дальше. Прощание с морем в 1824 году — не простая разлука уезжающего на север Пушкина. Это внутреннее прощание с Байроном, революцией — все еще дорогими, но уже отходящими вдаль, но уже невозможными.

С тех пор, на севере, свобода Пушкина все более утрачивает свой страстный, дионисический характер. Она становится трезвее, прохладнее, чище. Она все более означает для Пушкина свободу творческого досуга. Ее все более приходится отстаивать от утилитаризма толпы, от большого света, в который вошел Пушкин. Она расцветает чаще всего осенью: уже не море, а русская деревня, Михайловское, Болдино являются пестунами ее. Свобода Пушкина становится символом независимости. Такова ее, приправленная горечью, последняя декларация (так называемое «Из Пиндемонте»):

Иная, лучшая потребна мне свобода...
 ...Никому
 Отчета не давать; себе лишь самому
 Служить и угождать...
 По прихоти своей скитаться здесь и там,
 Дивясь божественным природы красотам,
 И пред созданьями искусств и вдохновенья
 Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
 Вот счастье! Вот права...

Но если здесь свобода как бы снижается до себялюбия, до индивидуалистического отъединения от мира людей, то на противоположном полюсе она начинает для Пушкина звучать религиозно. Не смея касаться мимоходом чрезвычайно сложного вопроса о пушкинской религиозности, не могу не отметить, что во всех, не очень частых высказываниях Пушкина, в которых можно видеть отражение его религиозных настроений, они всегда связаны с ощущением свободы. В этом самое сильное свидетельство о свободе как метафизической основе его жизни. Религия предстает ему не в образе морального закона, не в зовах таинственного мира, и не в эресе сверхземной любви, а в чаянии последнего освобождения.

Так он вздыхает, заглядевшись на монастырь в горах Кавказа (1829):

Туда, сказав прости ущелью,
 Подняться к вольной вышине,
 Туда б, в заоблачную келью,
 В соседство Бога скрыться мне!

Здесь важна интуиция Пушкина, что Бог живет в царстве свободы и что приближение к Нему освобождает.

Переводя из Бенъяна (1834) начало его суровой пуританской поэмы, весьма далекой от всякого чувства свободы¹¹, Пушкин роняет стих, который, очевидно, имеет для него особое значение:

Как раб, замысливший отчаянный побег, —

для выражения аскетического отречения от мира.

Даже перелагая монашескую, покаянную, великопостную молитву¹², Пушкин вкладывает в нее тот же легкий, освобождающий смысл:

Чтоб сердцем взлетать во области заочны...

И наконец, накануне смерти, в послании к жене¹³, он оставляет свое последнее завещание свободы, в котором явно сливаются образы Бенъянского беглеца и монастыря на Кавказе.

На свете счастья нет, а есть покой и воля.
 Давно завидная мечтается мне доля,
 Давно, усталый раб, замыслил я побег
 В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

* * *

Вглядимся пристальнее в ту линию, которую на общем фоне пушкинского свободолюбия описывает кривая его политической свободы, — свободы, сопряженной с империей.

Пушкин начинает с гимнов революции. Напрасно трактуют их иногда как вещи слабые и не заслуживающие внимания. «Кинжал» прекрасен, и послание к Чаадаеву принадлежит к лучшим, и, что удивительно, совершенно зрелым (1818 г.) созданиям Пушкина. Среди современных им вакхических и вольтерьянских шалостей пера, революционные гимны Пушкина поражают своей глубокой серьезностью. Замечательно то, что в них выражается не одно лишь кипение революционных страстей, но явственно дан и их катарсис. Чувствуется, что не Байрон, а аполлинический Шенье и Державин водили пушкинским пером. А за умеряющим влиянием Аполлона как не почувствовать его собственного благородного сердца?

Конечно, срывы есть. Дионисическая стихия мятежа иногда захлестывает, и муза поэта, как в кавказском гимне Цицианову, поет кровь. Строфа из «Вольности»: «Самовластительный злодей» и т. д., которая читается теперь как проклятие, исполнившееся через 100 лет, конечно, ужасна. Но дочитаем до конца. Поэт, только что выразивший свою радость по поводу убийства Павла¹⁴, рисует сцену 11 марта:

О стыд! О ужас наших дней!
 Как звери, вторглись янычары!

Падут бесславные удары —
Погиб увенчанный злодей!

Нравственное сознание торжествует здесь над политическим удовлетворением. Убитый тиран и убийцы-звери одинаково отвратительны поэту. Не находит оправдания в его глазах и казнь Людовика, жертвы предков. Правда, он воспеваает кинжал, т. е. террор, т. е. убийство. Но здесь слабый убивает сильного, свободная личность восстает против тирана. Принимая войну и рыцарский поединок, Пушкин не мог возражать против тираноубийства. Но посмотрите, как нелегально наносит он свои удары. Его герои — Брут, Шарлотта Корде, Георг Занд. Убийца императора поставлен рядом с убийцей революционного тирана. В «Вольности» народы и цари одинаково подвластны Закону:

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль Народу, иль Царям
Законом властвовать возможно!

Призыв к «восстанию рабов», угрозы смерти тиранам кончатся идеалом законной, конституционной монархии:

И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Если это декабризм, то декабризм конституционный, Никиты Муравьева, а не Пестеля.

«Деревня» рисует крепостное рабство в России мрачными, тяжелыми красками. Таким видел его Радищев. Злодейства господ, изображенные здесь, как будто вопиют о мести. Восстание угнетенных было бы в этом случае естественным, даже с художественной точки зрения, разрешением. Но мы знаем, как кончает Пушкин: падением рабства «по манию царя» и зарей «просвещенной свободы».

Отметим также, что, хотя Пушкин поет о страданиях народа и грозит его притеснителям, ничто не позволяет назвать его демократом. Свобода его еще не эгоистична, она для всех. Но опасность грозит ей одинаково и от царей, и от самих народов. Для Пушкина драгоценна именно вольность народа, а не его власть. Это чрезвычайно существенно для понимания политической эволюции Пушкина. Его отход от революции вытекает из разочарования не в свободе, а в народе, как в недостойном носителе свободы.

Мы сказали, что освобождение Пушкина от революционных страстей протекает параллельно с его очищением от страстей

байронических. Байрон был для него и политическим героем, борцом за свободу Греции. Кризис настал, или был ускорен, в связи с политическими событиями в Европе, 1820-й год ознаменовался рядом восстаний, угрожавших взорвать реакционный порядок, установленный Священным Союзом. В Испании, в Неаполе, в Германии происходят народные движения, на которые Пушкин и его друзья отзываются радостными надеждами. В Кишиневе Пушкин сам присутствует при начале греческого восстания и восторженно провожает на войну героев гетерии. Поражение всех этих революционных вспышек оставило в поэте горький осадок. По отношению к грекам оно обострилось еще разочарованием в них, как в народе, недостойном великих предков. В конце 1823 г. этот кризис нашел себе горькое и сильное выражение в известных стихах:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды.

Пушкин сознает себя сеятелем свободы, серьезно относясь к своему революционному призванию. Но он приходит к сознанию бесполезности своих — и общих — усилий:

Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь!

Жестокие слова, срывающиеся из-под пера (снова срыв) — не проклятие свободе, а проклятие рабам, не умеющим за нее бороться. Но это поворотный момент. Здесь, а не 14 декабря 1825 г., первое рождение пушкинского консерватизма. Не отрекаясь от идеала свободы, он уже поражен горечью ее неосуществимости. Его консервативное сознание впервые рождается из скептицизма. Это подтверждается обращенным к А. Н. Раевскому «Демоном», написанным в те же дни.

«Неистошимою клеветою» искуситель отрицает все святыни, на которых покоилась религия пушкинского гуманизма:

Он вдохновенье презирал,
Не верил он любви, свободе...

Отрицание свободы для Пушкина равносильно с клеветой на Провидение. И тем не менее Пушкин признается, что он подпадает под власть этих искушений («вливая в душу хладный яд»).

Свобода не теряла для Пушкина своей священности в то время, когда он прощался с ней. Его последнее обращение к морю, как мы указали уже, имеет своей темой свободу, т. е. ту мятежную, революционную стихию, к которой он рвался так страстно — в греческом ли восстании, или в декабристском заговоре. Не об этой ли «свободной стихии» Пушкин мечтает, бессознательно (как бы обертоном), говоря о своих несбывшихся надеждах:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег...

Эта твердая почва, на которой он стоит, — почва России, быта, консерватизма, — не имеет еще для него ни малейшей прелести. Но свобода неосуществима, и мир постыл — именно потому, что в нем нет места свободе:

Мир опустел...
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль самовластье, иль тиран.

Эту мысль он повторяет — только с еще большей горечью, на этот раз обращенной к самой изменчивой стихии моря — в 1826 г. в письме к кн. П. А. Вяземскому:

Не славь его! В наш гнусный век
Седой Нептун — земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник¹⁵.

Хорошо известен политический намек, заключающийся в этих словах (слух об аресте Н. И. Тургенева), и совершенно ясно, что, обвиняя море, Пушкин еще не предпочитает ему суши и что величайшими преступлениями для него являются те, которые совершаются против свободы.

Много лет пройдет, пока в «Медном всаднике» (1832) Пушкин не увидит в ярости бушующей водной стихии — злую силу, и не станет против нее с Петром:

Да умирится же с тобой
И побежденная стихия!

Что в Пушкине жив, и после прощания с морем, это свободы, хорошо видно из «Андрея Шенье», написанного им «на суше», в Михайловском, в период «Бориса Годунова» (1825). Это стихотворение совершенно подобно «Вольности» и «Кинжалу» в своей двусторонней направленности против тирании царей и

народа. Замечательно, что гибнущий под революционным топором поэт — а с ним и Пушкин — не смеет бросить обвинения самой свободе, во имя которой неистовствуют палачи:

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, не виновна ты...

В 1825 г. Пушкин на распутье. Позади море, юг, революция — перед ним Михайловское, деревня, Россия. Нет сомнения, что его развитие в сторону «свободного консерватизма» было предопределено. Но в этот медленный, органический рост его нового чувства России 14-ое декабря упало, как молния. Оно сильно запутало и исказило ясность пушкинского пути. Оно заставило поэта принять решение, сделать выбор — для него, быть может, преждевременный. Оно стало исходным пунктом ложного положения, в котором Пушкин мучился всю свою жизнь. Это положение можно было бы охарактеризовать кратко: поднадзорный камер-юнкер, или певец империи, преследуемый до самого конца за неистребимый дух свободы.

Корни пушкинского консерватизма — вполне предопределенного — многообразны и сложны. В главном он связан, конечно, с «поумнением» Пушкина: с возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию, на ее политические возможности, на роль ее исторической власти. Личный опыт и личный ум при этом оказываются в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли. Это течение — от Карамзина к Погодину — легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким и органически выросшим. Оно являлось прежде всего реакцией на европеизм XVIII века, могущественно поддержанной атмосферой 1812 года. У его истоков «История государства Российского», в завершении — русские песни Киреевского, словарь Даля, молодая русская этнография николаевских лет. «Народность» не была только официальным лозунгом гр. Уварова. Она удовлетворяла глубокой национальной потребности общества. И Пушкин принял участие в творческом изучении русской народности, как собиратель народных песен, как создатель «Бориса Годунова» и «Русалки». Мы понимаем, почему он был ближе по своим сочувствиям к Карамзину (несмотря на юношескую эпиграмму)¹⁶, чем к Каченовскому, к Погодину, чем к Полевому.

Но к этим органическим и оправданным мотивам историческая случайность (14-ое декабря) присоединяет другие, менее чистые. С одним мы уже познакомились: это скептицизм. Другой

явственно и болезненно для нас встает в его письмах: это его естественная, но отнюдь не героическая потребность — определить как можно скорее свою судьбу, вырваться из Михайловского, покончить с прошлым, вступить с правительством в лояльные, договорные отношения. Замечательно, что и этот мотив восходит все к той же свободе — на этот раз личной свободе. Пушкин жаждет вырваться из ссылки какой бы то ни было ценой: не удастся бегство из России, эмиграция, — остается договориться с царем. В этих переговорах все преимущества были на стороне императора. Николай I показал себя, как в отношениях с декабристами, превосходным актером, и Пушкин запутался в сетях царя.

Есть полная и печальная аналогия между отношением Пушкина к Н. Н. Гончаровой и отношением его к Николаю. Пушкин был прельщен и поработчен навсегда — в одном случае бездушной красотой, в другом — бездушной силой. С доверчивостью и беззащитностью поэта, Пушкин увидел в одной идеал Мадонны, в другом — Великого Петра. И отдал себя обоим добровольно, связав себя словом, обетом верности, обрекавшим его на жизнь, полную мелких терзаний и бессмысленных унижений.

Но как понятен источник роковой ошибки. Поэт, наскучивший своей бездомностью и скитальчеством, хочет иметь родину, семью, быть певцом родной земли и вкусить лояльной, не блуждающей любви. Возьмем первую тему. Доселе он воспевал императоров XVIII века, носителей свободы, и проклинал царей своего времени — Павла, Александра, изменивших ей. Почему же новый царь не может вернуться к благородной традиции свободолюбивой империи? Пушкин не изменяет себе, он лишь хочет сковать в одно две свои верности, две политических темы своей музыки: империю и свободу. «Стансы» Николаю, его поэтический договор с царем, где он предлагает ему идеал Петра, — разве это измена? Пушкин долго живет надеждами, ловит в словах нового самодержца проблески просвещенной доброй воли; ошибаясь, бранится, будирует, но не разрывает новой лояльности.

Впрочем, отношения Пушкина к Николаю I слишком сложны, чтобы их исчерпать в нескольких строках. Столь же сложен стал образ свободы у Пушкина в последнее десятилетие его жизни. С уверенностью можно сказать, что поэт никогда не изменил ей. Со всей силой он утверждает ее для своего творчества. Тема свободы поэта от «черни», общественного мнения, от властей и народа, становится преобладающей в его общественной лирике. Иной раз она звучит лично, эгоистически: «...себе лишь одному служить и угождать», иной раз пророчески-самоотверженно. Но

рядом с этой личной свободой поэта не умирает, хотя и приглушается, другая, политическая тема. Все чаще она, никогда не имевшая демократического характера, получает аристократическое обличье. Впрочем этот аристократический либерализм Пушкина оставил больше следа в его заметках и письмах (рассуждения о дворянстве, замечания вел. кн. Михаилу Николаевичу о Романовых — *niveleurs*¹⁷), чем в поэзии. Нельзя, впрочем, не найти в «Борисе Годунове» отражения собственных политических идей поэта хотя бы в словах фрондирующего Пушкина, его предка, или в похвалах кн. Курбскому.

Наконец, нельзя не видеть сжатого под очень высоким «имперским» давлением пафоса свободы в пушкинском «Пугачеве». Не случайно, конечно, Стенька Разин и Пугачев, наряду с Петром Великим, более всего влекли к себе историческую лиру Пушкина. В зрелые годы он никогда не стал бы певцом русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». Но он и не пожелал бросить Пугачева под ноги Михельсону и даже Суворову. В «Капитанской дочке» два политических центра: Пугачев и Екатерина, и оба они нарисованы с явным сочувствием. Пушкин, бесспорно, любил Пугачева за то же, за что он любил Байрона и Наполеона: за смелость, за силу, за проблемски великодушия. Пугачев, рассказывающий с «диким вдохновением» калмыцкую сказку об орле и вороне: «Чем триста лет питаться падалью, лучше один раз напиться живой крови», — это ключ к пушкинскому увлечению. Оно порукой за то, что Пушкин, строитель русской империи, никогда не мог бы сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой, воли. Русская воля и западное просвещение проводят грань между пушкинским консерватизмом, его империей, и николаевским или погодинским государством Российским.

Конечно, Пушкин не политик и не всегда сводит концы с концами. Есть у него грехи и прегрешения против свободы — и даже довольно тяжкие. Таково его удовлетворение по поводу закрытия журнала Полевого или защита цензуры в антирадищевских «Мыслях на дороге»¹⁸. Но все эти промахи и обмолвки исчезают перед его основной лояльностью. Никогда, ни единым словом он не предал и не отрекся от друзей своей юности — декабристов — как не отрекся от А. Шенье и от Байрона. Никогда сознательно Пушкин не переходил в стан врагов свободы и не становился певцом реакции. В конце концов кн. Вяземский был совершенно прав, назвав политическое направление зрелого Пушкина «свободным консерватизмом»¹⁹. С именем свободы на устах Пушкин и умер: политической свободы в своем «Памятнике», духовной в стихах к жене о «покое и воле». Пусть чаемый им

синтез империи и свободы не осуществился — даже в его творчестве, еще менее в русской жизни; пусть Российская империя погибла, не решив этой пушкинской задачи. Она стоит и перед нами, как перед всеми будущими поколениями, теперь еще более трудная, чем когда-либо, но непреложная, неотвратимая. Россия не будет жить, если не исполнит завещания своего поэта, если не одухотворит тяжесть своей вновь воздвигаемой Империи крылатой свободой.

